

КИРИЛЛ КОЖУРИН

Мет-омар-фозы любви



Кирилл Кожурин

Мет-омар-фозы любви

«Издательские решения»

Кожурин К. Я.

Мет-омар-фозы любви / К. Я. Кожурин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-748219-0

В книге «Мет-омар-фозы любви» (1993) представлена ранняя поэтическая проза Кирилла Кожурина. Особенности авторской орфографии и пунктуации сохраняются.

ISBN 978-5-44-748219-0

© Кожурин К. Я.
© Издательские решения

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	9
-----------------------------------	---

Мет-омар-фозы любви

Кирилл Яковлевич Кожурин

Omnia vincit Omar...
Vergilius, Bucol., X.

Всё побеждает Омар...
Вергилий, Буколики, X

© Кирилл Яковлевич Кожурин, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«... Вот ты строишь песочный дворец, складываешь из этих мельчайших и почти неведомых песчинок нечто, а ведь знаешь, что рано или поздно, – развалится дворец из песка. От дуновения ли ветра, от неосторожного ли движения руки, от слишком ли сильного дыхания твоего, от собственной ли тяжести или оттого, что основание его водою будет подточено, – а развалится твой песочный дворец...

...И, злосчастный Сизиф, будешь ты продолжать бессмысленное это занятие – строить свой зыбкий дворец...

...Несчастный, несчастный... Даже вечные горы качают во сне белыми головами. Ты ли, рожденный божеством, удовлетворишься уделом смертного? Ты катишь на проклятую гору свой всегдашний булыжник, а ведь мог бы быть полубогом, мог бы быть, как прародитель наш Орфей, божественным слушателем, и, вслушиваясь, повторять те, золотые звуки... мог бы всматриваться в то... отраженное... [лицо?] ...мог бы... и как то цветка дыхание опьяняющее...

...вечный ребенок, играющий в вечности в песочные дворцы. (О времена, о дворцы!) На дне Океана в объятиях звезд морских и в образе спрута ты был властелином Горгон: Сфены, Эвриалы и Медузы, чьи волосы – змеи. Многие искали твоей дружбы, и возлюбленных своих обнимал ты многочисленными щупальцами. О, счастье быть спрутом и иметь не две руки, но восемь, десять, тринадцать, сто! И все они, все ощущали тепло желанного тела, и ты обнимал его всею огромностью своей, и как бы внутри тебя оказывалось оно...

..На разбитой чернофигурной амфоре сохранилось твое изображение, владыка Океана. Черепки...»

Времена, которых в нашем языке только три, времена, которых на самом деле больше и которые живут во мне, причудливо переплетаясь, образуя уходящую в бесконечность вязь, некий объемный, еще никем не расшифрованный иероглиф, эти времена изредка приносят на крыльях твой образ, твой голос приносится волнами этих времен. Я переживаю прошлое мгновение – и уже другие, предшествовавшие ему, мгновения наплывают на него, являясь из третьего, четвертого, тринадцатого времени. Связи, их соединяющие, обрываются, и являются мгновения из будущего, из ближайшего будущего, из будущего бесконечно далекого. Временная последовательность теряется, внутри меня обустраивается небольшой, но вполне комфортабельный сумасшедший дом. Роман, который я пытался выстроить в той последовательности, в какой он должен был происходить в действительности, превращался в бесформенное собрание наплывавших друг на друга мгновений, следуя логике дома умалишенных, расположившегося на дне памяти. Историю моего маленького королевства некоторые назовут историей болезни и попытаются писать ее летопись на медицинских бланках, заклеенных всевозможными печатями и подписями всевозможных врачей. Другие лишь беспомощно раз-

ведут руками, забыв о существовании нотного письма, плоского на бумаге, но приобретающего бесконечное количество измерений при исполнении.

Он видится мне то Лондоном непроглядных импрессионистских туманов, то Парижем ярких, правда, немногочисленных вечерних кафе, то Афинами роскошных симпозиев и все благословляющего солнца, то Римом упадка, с его нестирающейся памятью разрушенных дворцов и разбитых статуй, то междувоенным Берлином, с паровозными гудками в отдаленье и отражающим желтый электрический свет зеркальным асфальтом, то самим собой, но когда откуда-то, верно, из прошлого, всплывают голоса и тени екатерининских вельмож или денди пушкинской эпохи. Он никогда не бывает одним и тем же. Он меняется каждую долю секунды, меняется до неузнаваемости, но все же остается собой. Ему нет никакого дела до наших представлений о нем, его не интересует наше мнение. И все же я безумно рад, что мы встретились именно здесь.

Пейзаж преобразается в мутном стекле, оставляя впечатление чего-то, носящего в своем чреве тайну, что в один из дней раскроет миру себя. Подводный ландшафт, казалось бы, тоже должен когда-нибудь открыться во всем великолепии своих подробностей. Только этого никогда не произойдет. Раковина напоминает океанские апартаменты спрута, желанные палаты владычицы морской, та самая раковина, что расположилась на дне старого пруда, на мягком песке.

Кровоточащий свет звезды падает из сердца некоего созвездия, падает на дно пруда и заполняет собою раковину, пробившись сквозь тончайшую щель. Раковина становится маленьким красным фонариком. В каждом городе есть хотя бы один дом, над входом в который висит красный фонарь, приглашающий ищущих приключения в бессмысленно-бесконечные путешествия по направлению к *arhe*¹ всего сущего. Но красный фонарик на дне пруда намекает всего лишь на конец, вполне однозначный, но который, тем не менее, породит, исчезнув вместе со светом звезды, бесконечное множество вещей видимого же и невидимого мира, новую Вселенную.

Раковина, красным наполненная светом, красным вином со звездой венчанная; вены невестным венцом ей вскрыли.

И где-то на дне пруда, где спрутоподобный Пруст пытался паутину своих воспоминаний восстановить, другой безумец тоже стал спрутом.

Паучьи памяти паутины в тине, в тени Арахна-оборотень плетет и уже сама путается в тропиках раков и раковин.

«Сеть широка, редки ее сплетенья, – лепечет узкоглазый лепесток лотоса, – но никто ее не убежал».

Возвращается веретено, вращаясь, вращаются и ветры, возвращаясь.

Одно окно открыто в небе, одно для всех открыто дно. Бездна, уже игрушечной ставшая, тихо отходит в сторону.

Раковина, бездна та же, окровавленная явившимся внезапно откровением, в тьму свою возвращается, отвращаясь.

Говорили, что кооператоры убивают маленьких детей и ставят в их кровь свои гвоздики – чтобы дольше стояли и были краснее.

Старуха, претендовавшая на графский титул, выгуливала поздно вечером своего индюка, боясь быть замеченной за постыдным своим занятием.

¹ *arhe*» (древнегреч.) – первоначало.

Бензинное пятно улыбалось на асфальте. Проходил человек с аквариумом вместо головы – коричневые жабы плавали в нем: он отравился водкой.

В небесах пролетел белый рояль, прикинувшись чайкой

Стекла вспотели от натуги, сдерживая напор холодного воздуха, не впуская его в комнаты.

В небесах пролетел черный рояль, прикинувшись вороной.

На Философском факультете завелись бреды...

Дом медленно заполнялся огромными омарами. Они лезли в двери, в окна, появлялись из шкафов, из ящиков столов и постепенно, наползая друг на друга, выстраиваясь в несколько этажей, заполняли собою все пространство дома.

Звонка не было, но отчего-то захотелось снять телефонную трубку и услышать хоть чей-нибудь голос. Снял. Оттуда вывалилось чье-то ухо.

А омары все прибывали и прибывали.

Пустые раковины раки-отшельники занимают. Они – те же монахи, плетущие нити своих паутин-воспоминаний. У каждой раковины должен быть свой Ра, в раковине пребывающий.

Взгляд – как взгляд кинокамеры: на все и даже на себя. В результате остается почти бесконечная лента, сгорающая в миг разлучения души с телом. Есть огромный глаз, все видящий, все слышащий, все пропускающий через себя – и непрерывающаяся лента. Все, что происходит, – только картинки, следующие друг за другом, быстро мелькающие. Они живут одно мгновение, и какое дело до них глаз? В течение жизни можно снять несколько миллионов кинофильмов, которые увидит лишь единственный глаз.

Тринадцать кедров на одинокой горе. Мальчики распятые на кедрах, ослепшие от солнца. Горла их пересохли, губы их онемели и одеревенели языки. Под солнцем, а ночью – под взглядами жадных нетопырей, под вздохами ветра.

Распятые навек – не умирают. Луна вливает в них по ночам небывалые силы, чтобы выжить им днем.

И не смеют летучие твари приблизиться к мальчикам распятым. И ветры ледяные остывают.

Только черный горбун изредка наведывается к тринадцати своим кедром и, взглянув вверх, быстро уходит.

И по дороге, что идет под горою с кедрами, раз в год проезжает в дальние селения сборщик податей на арбе, запряженной ослами. И обратно – через день, задрав голову кверху, к кедром.

Так всегда.

Уже не было места, куда ступить. Все было заполнено омарами. В кроватке лежал младенец. Родители в страхе убежали, забыв о нем. Омары растерзали маленькое тельце в клочья, но крови на фоне их панцирей не было видно. Уже им становилось тесно, и они клешнями перекусывали друг друга пополам.

Снова в кроватке лежал младенец, но никаких омаров вокруг не было. Они либо ушли, либо еще не приходили.

Зазвонил телефон, кто-то снял трубку, и оттуда вывалилось чье-то ухо.

Дом медленно заполнялся огромными омарами.

В комнате стало темно, и поэтому в дверях появился слуга в коричневой куртке, держа в одной руке тяжелый бронзовый шандал с горящими свечами, а в другой – большое серебряное блюдо с красным вареным омаром. Бесконечный стол устремлялся вглубь комнаты, а в углу, за мольбертом, восседал Снейдерс. Он голодал уже седьмой день, а стол ломился от всевозможных изысканных яств. Но новый натюрморт никак у него не получался. Он со сладострастием выписывал каждый предмет, предвкушая грядущее наслаждение; и когда эскиз был готов, он с жадностью хищника набрасывался на позировавшие ему фрукты и овощи, омаров и ветчину, угрей и лебедей и в один момент уничтожал все. Потом несколько недель его мучили страшные боли в животе, и тогда он начинал писать как Иероним Босх. Во снах, уже сливавшихся с явью, желудочные боли приобретали вещественный облик и преследовали его в виде уродов, уродищ и уродцев. Но запечатлев все свои бреды на холсте, он, по прошествии болезни, уничтожал все, уже маслом написанное, и возвращался к милым сердцу натюрмортам. Он не умел изображать людей и, когда в его овощной лавке должна была появиться неожиданная посетительница, просил написать ее кого-нибудь из своих друзей.

Дом медленно заполнялся огромными омарами, но Снейдерс не замечал их. Он продолжал писать свою «Кондитерскую лавку». Это был его последний шедевр. Когда картина, уже покрытая лаком, стояла на мольберте в ожидании рамы, омары ворвались в мастерскую и изорвали его вместе с картиной своими клешнями в клочья.

Меж гранитных берегов жидкий тек свинец. Раковина на дне потока венцом становилась.
Над головами жидкий тек свинец. И Ра становился венцом.

Веником зима подмела осень, выбросила листья и мысли в свинцовое вод течение.

Вены проколов, Адмиралтейская игла в кровь вводила воспоминанья, прежние бреды разбудив.

Омары, моря халифы, оседлав воспоминанья, заполняли меня, мой маленький сумасшедший домик в Коломне медленно заселяли.

Свинцовых вод и свинских орд, где беси, без числа, вселились, наплывал далекий шум.

Моря далекого шум, ведь там в каждой раковине – неисчислимый хор музыки роговой ветреной Елисаветы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.